

2. Деррида Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. – СПб. : Академ. проект, 2000. – 428 с.

3. Доманский В. А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в школе / В. А. Доманский. – М. : Флинта, 2002. – 368 с.

4. Лейдерман Н. Постреализм: теоретический очерк / Н. Лейдерман / Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург : Ин-т филол. исслед. и образоват. стратегий «Словесник», 2005. – 249 с.

5. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. – М. : Ин-т эксперим. социологии, 1998. – 160 с.

6. Парамонов Б. Формализм: метод или мировоззрение / Б. Парамонов // Новое литературное обозрение. – 1995. – № 14. – С. 35–38.

7. Соколов А. В. Социальные коммуникации / А. В. Соколов. – М. : Профиздат, 2001. – 201 с.

8. Сорокин П. Социокультурная динамика / П. Сорокин // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 429–432.

Бураго Д.

– кандидат филологических наук, докторант Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова

УДК 821.161.1.09''18/19''

РУССКОЕ «КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ» НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ И ПРОБЛЕМА ПИСАТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА

В статье рассматривается русская революция XX века, участие в ней как восставших народных масс, так и Художника, о чем написано множество научных трудов. Целью исследования является выявление в этом катаклизме тех потаенных глубинных корней общественной психологии, которые обычно игнорируются. Статья имеет теоретическое значение для глубинного уяснения проблемы «Поэт и общество» и коррекции соответствующих учебных курсов. Здесь превалирует социологический подход, что являет собой имплицитную инерцию советского мышления. Гораздо результативнее применить здесь принципы ритуально-мифологического литературоведения, успешно синтезировавшего находки мифологической школы и учение К. Г. Юнга об архетипах, в частности – ритуала Строительной Жертвы и ритуала Инициации, символизирующего архетип Смерти и Нового Рождения. В результате исследования автор статьи приходит к выявлению того обстоятельства, что прежние хозяева жизни и наставники морали подсознательно мыслились массой в роли коллективного Поверженного Великана, на теле которого воздвигалось Мировое Дерево. Особенную неприязнь вызывали именно носители традиционной духовности, взывавшие к погибшей совести, апеллировавшие к любви и милосердию, заложенным в глубинах человеческой души. В Советской России неукоснительно действует платоновский алгоритм извержения Поэта из общества, реализуясь в коллективном избиении элиты – в качестве ритуальной Строительной Жертвы, якобы необходимой при построении основ нового, небывалого мира. Исследование будет способствовать формированию нового взгляда на судьбу русской литературы XX века.

Ключевые слова: *поэт и народ, восстание масс, коллективное бессознательное, Строительная Жертва, Инициация.*

Бураго Д.

– кандидат філологічних наук, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

**РОСІЙСЬКЕ «КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ» НА МЕЖІ
XIX – XX СТОЛІТЬ І ПРОБЛЕМА ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ВИБОРУ**

Стаття присвячена темі впливу російської революції XX ст., участі в ній як повсталих народних мас, так і Митця, про що написано багато наукових робіт. Метою дослідження є виявлення в цьому катаклізмі того таємничого глибинного коріння суспільної психології, яке звичайно ігнорується. Стаття має теоретичне значення для глибинного з'ясування проблеми «Поет та суспільство» і корекції відповідних учбових курсів. Тут превалює соціологічний підхід, що являє собою імпліцитну інерцію радянського мислення. Було б більш результативно застосувати тут принципи ритуально-міфологічного літературознавства, успішно синтезувавши знахідки міфологічної школи і вчення К. Г. Юнга про архетипи, а саме – ритуалу Будівельної Жертви і ритуалу Ініціації, яка символізує архетип Смерті і Нового Народження. У результаті дослідження автор статті приходять до виявлення тієї обставини, що попередні господарі життя та напутники моралі підсвідомо мислились масою в ролі колективного Поваленого Велетня, на тілі якого возводилось Мирове Дерево. Особливу неприхильність визивали саме носії традиційної духовності, які зверталися до загиблого сумління, апелювали до любові та милосердя, закладеного в глибинах людської душі. У Радянській Росії неухильно діє платонівський алгоритм відторгнення Поета від суспільства, реалізуючись у колективному побитті еліти – в якості ритуальної Будівельної Жертви, нібито необхідної при будівництві основ нового, небувалоного світу. Дослідження буде сприяти формуванню нового погляду на долю російської літератури XX ст.

Ключові слова: поет і народ, повстання мас, колективне несвідоме, Будівельна Жертва, Ініціація.

Burago D.

– Candidate of Science (Linguistics), Doctor's Degree Programme student, National Pedagogical Drahomanov University

**RUSSIAN «COLLECTIVE UNCONSCIOUS» OF THE 19th–
20th CENTURIES AND THE PROBLEM OF THE WRITER'S CHOICE**

The article is dedicated to the analysis of the Russian collective unconscious in the period of the revolution of 1917. The participation of masses and artists, the existence and dynamics of a certain behaviour in which archetypes of Home and revolutionary Sacrifice turned into violence and brutality are under consideration. The purpose of the research is to identify the hidden deep roots of the collective psychology which are usually ignored. The article is of theoretic importance in terms of profound consideration of the problem of relationship between the Poet and the Society. The author points out the fact that sociologic approach prevails in teaching courses, which reflects the inertia of the soviet thinking. It would be more reasonable to use the principles of ritual-mythological critical science which successfully synthesizes the achievements of the school of Carl Gustav Jung, his mythological teaching of archetypal phenomena concerning the ritual of Sacrifice and the ritual of Initiation, which symbolizes the archetype of Death and Resurrection. The author comes to conclusion that the former masters of universe and mentors of morality

were unconsciously viewed by the mass as the collective Defeated Giant on whose body the World Tree was being erected. The bearers of traditional spirituality who appealed for the lost conscience, love and compassion, placed deeply inside people's souls, aroused peculiar dislike. In the Soviet Russia the Plato algorithm of poet's social rejection was invariably acting, being realized in the collective beating of the elite, perceived as a ritual Sacrifice. It was supposedly necessary in the process of laying the foundations of the new unprecedented world. The research will contribute to the forming a new view of the Russian literature of the XXth century.

Key words: *poet and people, rebellion, collective unconsciousness, Sacrifice, Initiation.*

Постановка проблемы. О русской революции XX века и о степени участия в ней как народных масс, так и Художника, написано немало. Но здесь, в силу инерции советского мышления, превалирует социологический подход. Последний, конечно, вовсе не исчерпан, достаточно указать на социокультурную критику Ф. Р. Ливиса, стремящегося заменить романтическое противопоставление поэта обществу трактовкой поэта как духовного лидера. Но в истории культуры бывают ситуации, когда для красивой модели поэта-лидера в реальности просто не оказывается места.

Целью же данной статьи является изучение глубинных корней общественной психологии в революционном катаклизме. Методологической опорой здесь выступают классические труды Э. М. Бодкин, Ф. Уотса, Н. Фрая, Р. Чейза и др. В частности, успешность такого подхода явственно обнаружилась в ритуальном объяснении мифологического эпоса (Ж. Дюмезиль и др.) и вообще возведении к ритуалу эпических сюжетов как таковых (Ш. Бодуэн). Методология была углублена в трудах Г. Мэррея и Г. Леви, уточнивших, что первобытный эпос был частью синкретического действия и включал ритуальные моменты типа смерти и воскрешения героя. Подход был распространен на куртуазный роман (Дж. Уэстон) и волшебную сказку (П. Сентив). Т. е., исследование опирается на принципы ритуально-мифологического литературоведения, успешно синтезировавшего находки мифологической школы и учение К. Г. Юнга об архетипах, в частности – ритуала Инициации, символизирующего архетип Смерти и Нового Рождения.

В принципе, думается, ритуально-мифологический подход применим к любой нарративной прозе, в том числе, скажем, и к документально-мемуарному материалу: ведь здесь повествование весьма часто сохраняет ритмы дыхания бурь эпохи, в которую творит пишущий. Более того, опираясь на такой алгоритм, можно построить достаточно полную и убедительную модель личной и

общественной психологии этой неповторимой эпохи.

Изложение основного материала. На рубеже XIX–XX столетий «загадочная русская душа» была устремлена не столько к Эросу, сколько к Танатосу. Вдруг обнаружилось, что в недрах русского коллективного бессознательного (как, впрочем, и в подсознательной сфере всякого другого европейского народа того времени, утомленного пертурбациями социально-политической жизни), возбудилось потаенное первобытное стремление к хаосу и разрушению. Все это ощущалось как подвиг во имя построения нового, лучшего мира и полно выражало дух эпохи Модерна. Активизируются не только разум и воля человека, но и агрессивные «призраки пещеры». Судьба русского литератора Серебряного века, эстета и индивидуалиста, после 1917 года являет собою трагическую Инициацию, далеко не всегда увенчивающуюся Вторым Рождением. При этом приобретает кардинальное, определяющее значение вопрос об отношении литератора к традиции. И традицию тут следует понимать в масштабе, как выразился М. Бахтин, «Большого времени культуры» [2, с. 115]. При этом нельзя не согласиться с С. Б. Бураго, подчеркивающим: «Отличительная черта русской культуры – в ее жизнотворчестве, в ее неразрывности с самыми последними вопросами бытия и самыми страшными проблемами жизнеустройства, и потому она в лучших образцах – великое творение духа и человеческой культуры. Здесь писатель – не профессия, а до конца состоявшаяся в творчестве жизнь со всей ее онтологической и социальной трагедией» [6, с. 36].

Обычно говорят о традициях хотя и достаточно почтенных, но все же не слишком глубоких – скажем, романтической традиции, традиции натуральной школы, пушкинской, гоголевской, некрасовской и мн. др. Но все же тут нужен иной масштаб. Вспомним, что на протяжении XIX–XX веков, при всей энергичности напора секуляризирующей тенденции, русское художественное слово, в общем-то, находилось в орбите христианского представления о духовности, а Великим Интертекстом культуры оставалась Библия [см. : 4]. И здание секуляризированной литературы все же воздвигалось на ушедшем в землю фундаменте древнерусской словесности, которая формировалась в русле христианского сознания.

Ф. Фукуяма, как известно, относит начало Великого Разрыва к середине XX столетия [10], но он не совсем прав: первые рывки в данном направлении наблюдаются чуть ли не с эпохи Ренессанса, и на рубеже XVIII–XIX веков данная тенденция уже вполне

обозначается. Разве Маркиз де Сад, равно как и освободившая его из тюрьмы и назначившая на высокий государственный пост Французская Революция в целом – не прямое, ярчайшее воплощение этого Великого Разрыва?

Но до поры до времени отторжение ценностей христианской цивилизации наблюдается лишь на уровне вольнодумной элиты. Когда она начнет вовлекать в свой алгоритм мышления широкие народные массы, дело разрушения традиционной культуры постепенно начинает набирать обороты.

Особое место принадлежит здесь марксистской утопии, являющей собой «светскую религию», искаженное христианство. К. Р. Поппер пишет: «Несмотря на все его несомненные достоинства, я считаю Маркса ложным пророком. Он был пророком, указывавшим направление движения истории, и его пророчества не сбылись. Однако я обвиняю его прежде всего в другом. Намного важнее, что он ввел в заблуждение множество интеллигентных людей, поверивших, что историческое пророчество – это научный способ подхода к общественным проблемам. Маркс ответственен за опустошающее воздействие историцистского метода мышления на тех людей, которые хотели защищать принципы открытого общества» [7, с. 99].

Н. Бердяев, некогда сам отдавший дань этой иллюзии, весьма точно выделяет слабейшее место марксизма: «Весь трагизм жизни происходит от столкновения конечного и бесконечного, временного и вечного, от несоответствия между человеком как духовным существом и человеком как природным существом, живущим в природном мире. Никакой усовершенствованный социальный строй не может этому помочь, наоборот, он выявляет столкновение и несоответствие в более чистом виде. И самый большой, самый предельный трагизм есть трагизм в отношении человека к Богу. Оптимистическая, бестрагичная теория прогресса, которую разделяют и марксисты, представляет собой безысходную в ее предельном противоречии трагедию смертоносного времени, превращающую людей в средство для грядущего. Разрешена она могла бы быть лишь в христианской вере в воскресение» [3, с. 353].

И когда учение Маркса, помноженное на политический авантюризм, вдруг сделалось фактической религией новой, Советской России, бурно и необузданно сокрушая все, что было связано с традиционными верованиями, то отторжение свободно мыслящего индивидуума от догматов новой веры стало чревато величайшим риском. И коллективное бессознательное нарождающегося советского общества стихийно высвободило многовековые мессианские чаяния народа. Ведь в русской

ментальности с давних пор переплелись христианские и языческие начала, и народ воспринял революцию еще и в несколько сказочном измерении. Торопливая попытка Максима Горького переписать новозаветную парадигму в революционном романе «Мать» призвана была создать впечатление, будто русский народ, трансплантированный на городскую почву в качестве нового класса – пролетариата, уже созрел для приятия нового вероучения, внедряемого, правда, как бы и «сверху», коммунистическими агитаторами. Но в реальности угнетенный пролетарий, вымотанный 14–16-часовым рабочим днем, был способен воспринять и интерпретировать реальность разве что на уровне частушки. Мутация вчерашних крестьян в уже окончательно обездоленный городской пролетариат не могла серьезно изменить строй коллективного бессознательного народа, разве что с большей остротой вырисовалась бездна между архаическим идеалом сытой и привольной жизни и суровой «капиталистической» реальностью, где и сытость-то не для всякого бывала доступна. В этих условиях увядала всякая тоска по выпретенному христианскому идеалу. Фактически сознание огромной низовой массы крестьянства и пролетариата пребывало в пространстве мифологического сознания, причем этот полухристианский-полуязыческий миф был смутен, трагичен и, вместе с тем, наивно наполнен предчувствием грядущего счастья – довольно вспомнить поэзию раннего Есенина. А теперь воплощение мифологического представления о счастье вплотную было поставлено перед обездоленным народом как реальная, практическая перспектива. Надо было только отдать душевной вере, в которой явлен был лик нового мессии, который был прост, как правда, даже неказист – скажем, «с лысиной, как на поднос»; в общем, нашего поля ягода. Блок страдал оттого, что впереди его страшноватых двенадцати апостолов нового мира все еще идет Христос, а не кто-либо Другой [5, с. 330].

Спасители, пока что являющие собой множество, которому, правда, вскорости предстояло сократиться до Единственного, не уставали доказывать, что их учение всеильно, потому что оно верно. В ближайшем будущем было обещано, при опоре на Разум и Науку, реальное построение рая на земле, и каждый Емеля, казалось, мог, наконец, обрести те волшебные Щуку или Печь, мечта о которых теплилась в сердцах простых, безграмотных людей многие столетия. Коммунистическая идея построения рая на земле более чем полно выражала настроения большинства извечно угнетенного русского человека массы. И тут для рефлексии не оставалось места: требовалось действия, «работать, работать и работать!»

Народ работал – подчас и на совесть. Достаточно вспомнить замордованного собственной активностью Павку Корчагина, утешающего себя тем, что он служит великому будущему. Ленинское «Надо мечтать!» согрело миллионы простых сердец. Эксплуатация народной массы оказалась потяжелее, чем при капитализме; несогласных вообще в перспективе ожидал рабский труд в концлагере. Но все это вырисовалось не сразу, и кредит доверия новым вероучителям оказался чрезвычайно велик.

В целом марксистская псевдо-религия явилась одним из самых ярких выражений сущности эпохи Модерна. В советской мифологии грядущий Титан-Человек высвобождал силы природы и свои собственные потенции, и оба эти начала должны были соединиться в некой торжествующей гармонии. Установка же на секуляризацию культуры, сложившаяся еще в философии Просвещения, вела к необыкновенному упрощению, если не к прямому уничтожению духовной жизни личности. Особенно же мешала исконная христианская культура, обращенная к «внутреннему человеку». Тем же Маяковским она презрительно третировалась как «психоложство». Бралась на подозрение индивидуалистическая, самоуглубленная лирика. Будущий певец революционного пролетариата издевательски распевал пронзительные стихи Ахматовой о сероглазом короле на мотив ярмарочной песенки «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Всю звонкую силу поэта следовало теперь отдать титаническому коллективному порыву преобразования мира в целом. Официозная же критика и вовсе требовала «революционного эпоса», так что тот же Маяковский, «наступая на горло собственной песне», пытался создавать некие грандиозные псевдо-эпические построения вроде поэмы «Хорошо!» или поэмы о Ленине. Лирики, как во времена романтизма, снова начали тяготеть к эпичности, к пугачевской или «разинской» темам. Соответственно в российском литературоведении общеевропейский термин «поэма», обозначающий небольшое лирическое произведение, вдруг приобрел значение некоего масштабного «лиро-эпического» полотна.

Требование «титаничности» теперь непременно сопрягалось с гердеровым понятием «народности»: Титан не мог быть индивидуалистом. Любимый персонаж Маркса Прометей был осмыслен уже не как бог-бунтарь, выступавший против узурпатора Зевса, а как герой-страдалец за права угнетенного народа. Все это пролагало путь к неоправданной идеализации «простого человека» (начатой, впрочем, еще русскими классиками и особенно же народниками), к искусственной гиперболизации роли фольклора, к

подозрительности насчет самого обычного, естественного, как дыхание, индивидуального идейно-стилевого эксперимента

Во всем этом чувствовалось не только стремление манипуляторов общественным сознанием «упростить» литературу, сделать ее неким наставничеством для «несмышленных»: настоящая советская литература стала своего рода *«детской литературой для взрослых»* [1, с. 134–135]. Здесь ощущалось и непомерное психологическое давление на творческую личность гигантской массы неграмотных и полуграмотных угнетенных людей, которая не могла не поддаться на блестящие обещания грядущей вскорости всеобщей сытости и вообще всякого благополучия. В такой атмосфере не могли не воскреснуть некоторые архаические модели поведения, удерживаемые доселе коллективным бессознательным на безопасной глубине.

Проснулась заложенная в массовом подсознании, еще недавно перегруженном массой христианских табу, первобытная жажда крови. «Барыня, а барыня!.. Вас скоро повесят», – наслаждается ситуацией кухарка из послеоктябрьского стихотворения Хлебникова. Тех же Разина и Пугачева официозная публицистика превратила в героев и «народных мстителей». Живописанию стихии бессмысленного и беспощадного бунта отдали душу даже такие нежнейшие таланты, как Есенин, приученный Блюмкиным ходить смотреть расстрелы в чекистских подвалах.

Этот взрыв напряженного интереса к расчеловечиванию и садизму не был, совершенно неожиданным: языческое сознание, не различающее добра и зла, на Руси никогда не умирало. Христианизация широких народных масс была тут, в общем-то, проведена формально, а то и насильно. Христианское религиозное сознание сохранило в себе и часть языческих обрядов и поверий не только в православной традиции, но и в католицизме. Окровавленное Распятие – сокрушение о человеческой жестокости – входит в один семантический ряд с черным петухом, которому отрывают голову в магических целях. И тут оказывается, что рвали голову черным петухам не только темнокожие колдуны Гаити, но и хорошо воспитанные петербургские народовольцы, устроившие накануне покушения на Александра II на конспиративной квартире настоящую черную мессу. В низах же волхвовали вовсю, и не один черный кот был сварен живьем для получения приворотного зелья.

Все это – редуцированное бытование архетипа Козла Отпущения, жертвенного животного, выкупающего своей жизнью человеческие благосостояние. Но в тайниках народной души хранилась еще и память о «настоящем», человеческом жертвоприношении. Недаром тишайший В. А. Жуковский изымал из

народных сказок обильно представленный здесь «хоррор» – убиение человека, расчленение трупа и тому подобные вещи – и в самом же деле, «зрелищем смерти, печали детское сердце грешно возмущать». В реальности же в народном коллективном бессознательном не изжитые языческие представления беспокоило ворочалось, словно чудовищный мертвый колдун у Гоголя в своей могиле, вызывая судороги общественной духовной почвы. Уже в предреволюционную пору массовое сознание влеклось, как магнитом, к ситуациям вроде «дела Бейлиса» или к мультяшным вотнякам, обвиненным в ритуальных человеческих жертвоприношениях. А в интеллигентных кругах, затронутых «декадансом», лихорадочно формировался интерес к собственному дохристианскому прошлому: достаточно вспомнить поиски «исконной русскости» в XIX веке и ошеломительный успех «Яри» С. Городецкого или популярность тех же Есенина, Клюева, Клычкова. При этом магнетически привлекало в первую очередь «дионисийское» начало, неподвластное суду разума буйство. И тому были определенные основания.

Ведь родимое прошлое было весьма непохоже на представление сегодняшних родноверов о славянском язычестве как о мирном хороводе в честь доброго Солнышка. Древние варварские верования обходилась с человеческой экзистенцией сурово. Титмар Мерзебургский писал, что у славян от гнева богов спасались пролитием крови людей и животных. В «Славянской хронике» Гельмольда отмечается, что славяне-язычники имели особенный вкус к жертвоприношению христиан (ежегодная жертва Святовиту, спонтанные жертвы Редегасту и многое другое). В восточнославянских землях старались не отставать: тут выбирали по жребию: «на него же падеть, того зарежем богом». Согласно «Повести временных лет», первые христианские мученики земли русской – варяги-христиане, отец и сын, принесенные в жертву Перуну.

Все это до поры до времени блокировалось новыми этическими максимами типа «Не убий» или «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Однако секуляризированная религия, свергнувшая христианство, как раз раздувала классовую ненависть, прямо понукала к массовому человекоизбиению. То «разрешение крови по совести», которое позволяет себе мятущийся Раскольников у Достоевского, кажется ничтожной точкой на фоне развернувшегося после 1917 года на просторах Советской России беснования. Красноречивая и малоизвестная деталь: М. Тухачевский подавал в свое время начальству докладную записку с предложением учредить в Красной Армии культ Перуна.

Но в старых идолах нужды не было: в изобилии появились новые. Совесть замолчала, кровопролитие развернулось вовсю. Революционная пресса переполнена призывами к массовому террору, и вот уже «буржуи» (в частности, доверившиеся большевистским обещаниям разоруженные белые офицеры) массово и без суда уничтожаются в Крыму, а затем, к началу 1918 года, и по всей стране.

Запрещаемая Библией человеческая жертва стала мыслиться в народном подсознании как нечто «настоящее» именно потому, что доселе она была запретна. Раз попы учат, что убивать не следует, – значит, как раз оно и следует! В головах вовлеченных в этот процесс образованных людей с особой энергией пульсировали рылеевские строки «Дело прочно, Когда под ним струится кровь» (к слову, Рылеева с почетом незамедлительно ввели в школьные программы, равно как и старый фольклор, живописующий кровавые расправы с «угнетателями»).

Это не было просто разнузданным некрофильством – в том смысле, в каком употребляет это слово Э. Фромм, разделяющий людей на «любителей живого» и «любителей мертвого» [9], хотя и для патологического, маниакального стремления убивать простор развернулся невиданный. Во всем этом ужасе присутствовала, как это ни странно прозвучит, определенная, претендующая на моральное содержание, языческая установка на реализацию архетипа Строительной Жертвы.

Ведь ритуал кровавого жертвоприношения – животного или человека – существовал у всех народов мира, как у диких, так и достаточно цивилизованных. Даже в средневековой христианской Европе отмечают такие вещи. Этнографы возводят этот ритуал к стремлению искупления греха рубки живых деревьев для построения дома; переход к каменному строительству уже ничего не изменил. Поскольку новый дом являлся как бы преобразованием существующего мира, то новую модель бытия следовало узаконить самым серьезным образом. Древнее славянство, да и христианизированное тоже, не было, снова-таки, исключением: тут строили дом, сообразуясь с представлениями о космическом равновесии, и устраивали в центре будущего жилища образ Мирового Дерева (крест, елка с иконкой и пр.). А поелику в древности был повсеместно распространен миф о творении нового мира из тела исполина – «старшего бога», убитого «младшими богами», – то и устанавливалось это Дерево на растерзанной плоти Жертвы, символизирующей Великана Поверженного. Иными словами, строительство Нового Дома вершилось не только в

прагматической плоскости, но и в дискурсе бытования мифа в ритуале.

Эти самые «угнетатели», прежние хозяева жизни и учителя «господской» морали, подсознательно мыслились в массе своей в роли некоего коллективного Поверженного Великана. Особенную неприязнь вызывали именно носители традиционной духовности, взывавшие к погибшей совести, апеллировавшие к любви и милосердию, заложенным в глубинах всякой человеческой души. Все это писателю, претендующему на выражение сегодняшнего «гласа народа», следовало изжить в себе навсегда. И вот уже Блок призывает писателя различать в музыке революции звучащий на весь мир колокол антигуманизма, а в «Двенадцати» выпукло очерчивает народное презрение к «витии».

И как опять же, не согласиться с С. Б. Бураго, говорящем уже о рубеже XX и XXI веков: «Когда мы верим своим ощущениям, констатирующим наличие предмета, более чем своему духу, констатирующему наличие Смысла мироздания, – это и есть язычество. <...> Более того, разрушение естественной взаимосвязи вещей и явлений через гипостазирование той или иной составляющей нашего мира, то есть принцип языческого и вполне дикого мировосприятия, есть также принцип существования и внутреннего разложения любого тоталитарного общества» [6, с 34].

Да что там «поверженные классы» – в новой религиозной системе центром зрения было богоборчество. Угроза Маяковского «Я тебя, седобородого, раскрою Отсюда и до Аляски!» точно локализовала топос первого этапа богониспровержения – территорию России; далее дело было за мировой революцией (правда, не удалось).

Разобщенные, находящиеся вне всякой социально-политической системности, рафинированные интеллигенты, пишущие изысканные стихи и прозу, вдруг стали «бывшими» в собственной стране, и даже крыша над головой иной раз переставала вдруг быть своей. Того же Блока, например, новая власть фактически выбрасывает на улицу, и поэт с женой перебирается жить к матери. То, что удерживало восставшие массы в рамках уважения к правам отдельной личности и к Закону в самом широком смысле – церковная мораль и ее предписания, – были осознаны как ветошь, и воистину пророческими оказались чаяния Т. Шевченко, предрекающего православию незавидную участь: «А кропилом будем, брате, Нову хату вимітати».

Выводы. Х. Ортега-и-Гассет, несомненно, учитывая такого

рода опыт XX века, говорит в «Дегуманизации искусства» о непрестанном сражении творцов культуры, одаренной и креативной элиты, с серой толпой, претендующей представлять собой «все общество», и связывает с данной ситуацией все основные европейские проблемы: «Масса сминает непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем. И ясно, что «все» – это отнюдь не «все». Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой <...> Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость» [8, с. 48].

Перспективы дальнейших исследований. Иными словами, в Советской России неукоснительно действует Платонов алгоритм извержения Поэта из общества, реализуясь в коллективном избиении элиты – в качестве ритуальной Строительной Жертвы, необходимой при построении основ нового, небывалого мира. И писателю оставалось выбирать между социальными ролями рискующего всем маргинала, нищенствующего эмигранта или же циничного приспособленца, реализующего свой талант в формате пропаганды. Но, конечно, все это может быть более подробно исследовано уже в иных, специальных работах.

Литература

1. Акимов В. М. Сто лет русской литературы: от Серебряного века до наших дней / В. М. Акимов. – СПб. : Лики России, 1995. – 385 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
3. Бердяев Н. А. Царство духа и царство Кесаря / Николай Александрович Бердяев. – М. : Республика, 1995. – 383 с.
4. Біблія як інтертекст світової літератури : колективна монографія / Загальне редагування С. Д. Абрамовича. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 428 с.
5. Блок А. А. Собрание сочинений : в 6-ти т. / А. А. Блок. – М. : Правда, 1971. – Т. 6. – 398 с.
6. Бурого С. Б. Набег язычества на рубеже веков / Сергей Борисович Бурого. – К. : Издательский дом Дмитрия Бурого, 2015. – 672 с.
7. Поппер К. Открытое общество и его враги / Карл Поппер. – М. : Феникс; Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – Ч. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. – 528 с.
8. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / Хосе Ортега-и-Гассет. – М. : Весь мир, 1997. – 704 с.
9. Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм. – М. : Республика, 1992. – 430 с.
10. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Фрэнсис Фукуяма. – М. : Act, 2003. – 474 с.